1

«Никитушка, мой любимый, как ты там на этом треклятом фронте? Всё ли у тебя есть, чтобы сохраниться, кормят ли вас, солдатиков, хорошо, так чтобы силы были воевать?» – тут Глафира вроде как споткнулась. А есть ли вообще еда там, где он воюет? Кто им там готовит? Это ж надо целую армию прокормить! Достаётся ли Никитушке?

Из письма, которое пришло недавно, из его первого и долгожданного письма она узнала, что «всяко бывает, бывает, едим досыта, а бывает и по-другому. Перед боем, к примеру, не едим, говорят опытные солдаты, что нельзя...». Почему-то сразу поняла своим практичным умом, почему нельзя. И заныло под сердцем и закипело в груди горячее что-то. Сама же просила написать, как там с едой, может чего прислать посылочкой. Вот он про еду-то и кажет.

Посылкой можно прислать, написал, пока «дислоцируются» надолго в одном месте. Будут сдерживать врага, оборону, укрепляют, говорит «глубокоэшелонированную». Вот так и написал такое слово. Слово вроде и не слышанное ране, но почему-то показалось ей понятным.

Глафира обняла мужнину подушку, окунулась в её мякоть лицом.

«Никитушка!» – закричала. Омыло лицо слезой, метнулась по пустой постели и вошла в сон, как в туман, как в бездну. Сон страшный... Будто вечером у костра хлебает он из огромного котла варево какое-то, и много ещё рук тянутся с ложками в котёл. И Никитушка ест, улыбается в усы мечтательно так. «Обо мне вспоминает, о Машке», – кажется Глафире. Вот он укладывается спать, укрывшись шинелью. Спит Никитушка, спит Глаша его, Машенька маленькая тоже спит. Но как-то неладно получается: далеко от своего дома Никитушку сон сморил.

А утром бойцы проходят мимо котла с кашей, и все как один отворачиваются от еды. «Нельзя нам! – говорят повару. – Нам в атаку». Бежит в атаку Никитушка, и много ещё солдатушек бегут, кричат громко «Ура-а-а-а!!!». И падают, то один, то другой солдатик. «Как же так? – думается Глафире? Почто таких-то молодых изводят эти фашисты? Почто умирают?» Страшно становится.

А тут привидилось ей, что фриц такой страшный в каске с рогами коровьими пулю выпустил из автомата. И эта пуля летит прямо вовстречь Никитушке. «Ура! Ура-а-а!» – кричат солдаты, а громче всех Никита. И он ещё не знает, что пуля летит вострeчь, и бежит, бежит... Пуля летит такая большая. Видит её Глафира, а сделать ничего не может. «Никитушка!!!» – кричит, и просыпается от своего же крика. Как предупредить мужа своего, что пуля уже летит, чтобы схоронился где? – закручинилась и облилась слезами. И вдруг страх ею овладел холодный, липкий от того, что не в силах ему помочь, что не слышит он её, что пуля может угодить ему в пустой живот.

Вскочила она с постели, подбежала к иконкам в красном углу, осенила себя крестом истово и горячо так, что проняло до самой глубины, пала на колени. На лампадку глаза свои, смоченные слезами, уставила, будто ожидая чего-то от этого слабого огонька. И лампадка вдруг вспыхнула, и свет её стал ярче. Глафира приняла этот добрый знак своей истощённой душой. Она поднялась с колен, подошла к малышке, доченьке, мирно сопевшей в своей кроватке, сделанной руками своего воюющего теперь папки. Лицо Машки озарилось вдруг улыбкой, очень схожей на улыбку Никиты. Облокотившись на кроватку, мама тоже улыбаясь смотрела на спящую дочь.

Погладив отшлифованное дерево, подумалось Глафире: «И это его работа», а скользнув своим взором по лицу дочери, раззадорилась скупым смехом, вдруг осознав какую-то двусмысленность в мелькнувшей сейчас мысли. Зажав рот рукой, чтобы не разбудить Машку, поправила свободной рукой одеяльце, подушечку. Что-то зародилось в голове Глафиры, какой-то план. Она ещё не в полной мере осознавала, но уже была готова к действию. Прямо сейчас, прямо сию минуту.

Оделась, вышла во двор. Ночь. Она не обратила внимания, как бывало раньше, на выкатившуюся огромным ровным тазом луну, зависшую над черёмухой, она не взглянула на звёзды, зазывно высыпавшие вдруг рясным пшеном после вчерашнего ливня. Зашла в сарайку, приспособленную Никитой под мастерскую. Зажгла керосиновую лампу, мужем прилаженную так, чтобы выгодно освещался стол с инструментами.

На ощупь нашла толстое, вышлифованное ладонями мужа древко старой, выкованной ещё отцом Никиты, лопаты. Получилась она после ковки толще своим телом, чем другие, казённые лопаты. Любил ею работать и отец Никиты, и сам Никитушка. «ЗамашнАя» – так говорил муж. Почему она «замашнАя», Глафира понять не могла, хотя бы потому, что эта лопатища всегда казалась ей «неподъёмной».

Подошедши к свету, Глафира пальцами попыталась измерить толщину железа. Пальцы не сомкнулись. «Это хорошо», – подумала, и вставила её в раскрытые тиски, поджала, прокручивая стальную ручку. Конец древка слева задел рабочую одежду мужа, висящую на дощатой стенке. Рабочий фартук из толстого брезента издал шуршащий звук. Глафира сняла фартук с гвоздя, надела поверх своей одежды, сняла с полки ножовку по металлу, повертела её в неумелых руках и приладилась пилить. Оказалось, что в линию будущего запила попадает древко. Вытянуть загнутый кованый гвоздь, удерживающий древко в проушине лопаты, оказалось делом нелёгким, но она справилась.

Пила скользнула по неподатливому железу, её полотно со скрипом скользнуло, легло своей плоскостью, изогнувшись. «Так и сломать недолго», – пронеслось испугом в голове. В запасе только два полотна. Глафира вспомнила, как сокрушался Никита, сломав однажды такую пилу. «Шибко прижал», – помнятся его слова. А как же отпилить такую железяку, «шибко» не прижимая? И она снова, не прижимая «шибко», стала шоркать по ржавому металлу. Наконец-то наметилась бороздка, и полотно пилы перестало гулять, елозить по сторонам. Жик-жик-жик. Уже и руки устали, ладони зажгло от неловкой, как показалось Глафире, ручки, уже и спину стало ломить, уже и петухи первые загорланили, а дело подвинулось мало. Села Глафира на старенький табурет и заревела прямо навзрыд. Вдруг затея показалась ей совершенно невыполнимой. «А пуля-то летит...».

Донёсся плач Машеньки будто издалека. Сердце матери встрепенулось, полетел фартук на неподатливую лопату. Вылетела птицей на улицу, впорхнула в дом. Достала малышку из кроватки, приложила к вырвавшейся из ночной рубашки груди, тяжело присела на любовно сколоченный мужем стул. Запричмокивала дочурка, тепло разлилось нежностью необыкновенной. «Никитушка, сладкий мой», – вырвалось. Ощутилось прикосновение мужниное, сердца будто коснулся, и ещё где-то разлилось тепло: по всему телу пошло, до самых пяточек достало. Слёзы сладкие бегут из глаз. Все почти слезинки на пелёнку в горошек из старого платья падают неслышно. А что-то проливается и на тугую грудь, ручейком стекая к губкам доченьки.

Чего не коснётся Глафира, всё ей о муже напоминает: возьмётся еду готовить на примусе – и вспоминает Никитушку своего. Он же купил примус. Он же научил им пользоваться, и как прочищать иголкой форсунку тоже научил. Откуда бы она знала такое смешное слово – форсунка. Кипит каша, помешивает она деревянной ложкой – Никитушка... Он же смастерил, да сделал дерево тонко, да такой рисунок вырезал. Возьмётся за угол стола – Никитушка...

Всё в доме ей о муже напоминает, будто он тут рядом, будто на минутку вышел. «Душа-то его здесь в дому нашем», – думает Глафира. Ночью подушку обнимет: «Никитушка мой». Ей всё кажется, что и пахнет она волосами мужниными, хоть и стиралась наволочка уже не единожды.

2

День сегодня выдался какой-то странный: время тянется так лениво, что Глафира начала всерьёз беспокоиться. А наступит ли вечер, а наступит ли ночь. Она уже между делом заскакивала в мастерскую. Пыталась продолжить начатую ночью работу, но тут соседка забежала во двор. Чтобы не выдать себя, Глафира выскочила из мастерской.

– Чо-то вжикат у тебя в хлеву, дай, думаю, спрошу.

– Ак теперь-то самой приходится всё делать: и точить самой приходится топоры и ножи, – выпалила Глафира, боясь выдать свою тайну. Ей почему-то кажется, что если в тайне сохранит свою задумку, то она силу от этого дополнительную приобретёт. Это же должно быть только между ею и Никитушкой. И что теперь: и о пуле растрезвонить на всю округу?

Постояла-постояла соседка, видит, что разговор не клеится, да покатила по своим делам. Смотрит вослед соседке Глафира. А ране бы на час, не меньше, завелись бы чесать языки, а вот сейчас не так. Дивится соседка перемене в Глафире. Ей-то ох как хочется погутарить, душу кому-то излить, горем своим поделиться. Глафира раньше-то и выслушать могла, и утешить. Что случилось с бабой? Как что случилось? Муж на фронте, вот тебе и весь сказ.

Воды натаскала, пока Машка спала на воздухе свежем в колыбельке, опять таки Никитушкой сделанной. Огурцы, помидоры полила, как же без поливу в такую жару. Сорняк прорвала на грядках, стаскала всё в конец огорода. Кур покормила, попоила. Вишня уже скоро созреет, скоро вишнёвое варенье будет варить. Никитушка вишнёвое любит.

Воды нагрела на летней печке. Печку тоже Никита смастерил, и дрова им припасены. Налила горячей воды в цинковое корыто, приладила стиральную доску в наклон. Достала большой кусок мыла. Стирает. Никита из головы не идёт: он же сколотил эту удобную для стирки скамейку, так сделал, как просила – в тенёчке, чтобы голову не пекло.

Машку уж третий раз покормила. День тянется долго, но солнышко уже к вершинам деревьев начинает склоняться.

Пришла коза из стада. И тут только Глафира улыбнулась: вечер, значит, пришёл, скоро ночь.

Жик-жик-жик... Глафира уже приладилась к этой ножовке, она уже знает, с каким нажимом нужно работать, она уже знает, что полотно нужно пускать ровно, чтобы не закусывало, чтобы не клинило, а то можно сломать. Допустить этого нельзя: предстоит ещё много пилить, так, что беречь нужно инструмент. Нажим тоже нужно соблюдать, чтобы пила не тормозила, чтобы не «зарывалась», но и чтобы не елозила без пользы. Мелкие металлические опилки сыплются озорными снопиками, сверкая металлом в свете лампы. Значит, всё делается правильно. Руки уже обвыклись, выводя привычную музыку – жик, жик, жик...

Вечером Машка улыбалась, аукала, уснула в добром настроении, а значит, спит крепко. Глафира уже изучила некоторые особенности своей дочурки: если с вечера была весела и забавна, то спать будет крепко, и ночью даст выспаться маме. Но сейчас не до сна. Жик, жик, жик... Пилу стало зажимать. Глафира отложила ножовку, налегла ладонью на металл – и кольцо-проушина для черенка легко отломилось. Радость. Первая победа.

Зажгло ладони. Посмотрела на кровавые мозоли. Как случилось, что раньше не заметила? Утром сошью варежки из старого маминого пальто. Ничего не должно помешать.

Ослабив тиски, Глафира достала «тело» лопаты, именно так она себе определила этот увесистый кусок металла, осмотрела его на вытянутых руках. И так повернула и этак. Здесь срезать, здесь срезать...

Орут петухи. Глафира идёт домой, валится на постель и засыпает.

Просыпается легко с первыми «гулями» Машеньки. Прикладывает к груди. «Никитушка!» – вырывается невольно. Машка косит глаз на источник звука. «Узнала имя батюшки своего, узнала», – радуется тихо. Кладёт Машеньку в кроватку, а сама, откинувшись поперёк кровати, уходит в тягучий сон. Наплывает волной то видение ночное, которое так взволновало, так напугало, так держит за горло. Письмо, уже другое, воссоздаётся в голове до подробностей. Пишет, что предстоят бои ожесточённые, что прёт всё же немец, хоть и получил по хребтине. Спрашивала, много ли гибнет солдат, а получила ответ расплывчатый, как ей показалось: «на войне как на войне...». Значит гибнут, значит есть что скрывать. Значит летят пули. И видит, как летит пуля вовстречь... Хочет крикнуть, отвратить страшное, но голос тонет в свисте снарядов, канонаде, устроенной с обеих сторон.

3

Работы столько, что за всю жизнь, кажется, её не переробить. Сегодня вот нужно прополоть, прорвать морковку. Уже один раз прорвала, но оказалось густо. То же самое и со свёклой. Почему-то так получается из года в год. Жалко что ли с первого разу проредить, как нужно? Ак если прорвать, то и полить сразу нужно, там же корешки повреждаются после таких процедур. В самый раз подпоить растения в такую жару. Воду из речки таскает, грядки поливает, поглядывает на готовую уже созреть вишню: варенье скоро варить, Никитушка любит.

Избу вымыла, дочурку искупала в воде, солнцем согретой, крыльцо подладила: коза доску выбила, будь она неладной, и без неё забот полон рот.

А вот и коза на помин легка. Пришла из стада – вечер.

Машку покормила, спать уложила – ночь.

«Предстоят бои ожесточённые». Ну что ж, «на войне как на войне». Привычными движениями зажала железку в тиски. Замигала лампа, потянулась копотью, вонючей ниточкой в потолок. Срезала ножницами неровный край фитиля, дозаправила керосином, раз уж измаралась. Варежки, на скорую руку сшитые, надела. Жик, жик, жик... как громко поёт пила! По бокам металл потоньше, вот и вибрирует, вот и поёт. Так думает Глафира. Правильно думает.

Ровно идёт полотно ножовки, высекаются золотистые опилки. Почему сразу не догадалась сшить рукавички? Спешила, торопилась. Поспешишь – людей насмешишь. Вот за такими думами работа спорится. Вот и последний ненужный кусок железа упал на пол. Ослабила тиски, осмотрела с расстояния вытянутых рук. Формой железяки осталась довольна: где-то издалека сердце напоминает. Теперь вот нужно все зауселицы убрать, чтобы всё гладко, чтобы не оцарапался Никитушка. Напильники на стенке развешаны. Какой из них? Пробует один, пробует другой, третий. Нашла, который лучше шлифует. Громко получается, однако ещё громче, чем пилить. Опять соседке в ухо попадёт.

Не стала ждать петухов, домой побрела. Спать уже боится: боится, что снова наваждение с этой окаянной пулей явится. Но сон не спросит, сам пожалует, уснула крепко, лишь голова коснулась подушки. Спала, пока не забазлала Машка во весь рот. Что с мамкой случилось? Уж битый час ору.

Вину свою чтобы загладить, берёт Машу на руки Глафира, ходит по избе, качает на руках, песенку поёт, какая на ум пришла. А Машке всё одинаково, лишь бы мамин голос слышать. Успокоилась, лыбится до ушей. Сосок схватила жадно, даже глаза прижмурила. Откинулась на спинку стула Глафира в мимолётном блаженстве. «Никитушка!» – вырывается стон. Машка глаза выпучила, смотрит на мамку, даже сосок выплюнула. Знает имя папки своего, знает!

Ни свет ни заря врывается соседка в дом. Машку только уложила после кормления.

– Чо-то вжикат у тебя ночью, однако, вжикат, вжикат, не пойму ничо, – она, взбалмошная, никак не может понять, что же там делает по ночам соседка.

– Я ж тебе давеча толковала: ножи, топоры поточила, научилась я этому делу. Хошь тебе наточу топор или чо там нужно, – Глафира будто оправдывается, хочет свою тайну сохранить.

– Ты мне, Глаша, зубы-то не заговаривай. Всю ночь напролёт топор точишь? Тута что-то нечисто.

Испугалась Глафира. В этой реплике она услышала чуть ли не угрозу: а вдруг по селу разнесёт? Женщина она вроде не вредная, но заинтригованная женщина всегда опасна. Это ей подсказывало женское чутьё, развитое до крайности. «Пусть она одна узнает, чем всё село. И это будет наша тайна на двоих». И Глафира чистосердечно призналась во всех страхах и тревогах, и даже о пуле рассказала.

– Хошь верь, а хошь не верь, чую я, что беда может случиться, вижу пулю, летящую, понимаешь? Может смогу беду в бок свести, ну что-то же нужно делать?

Соседка разревелась тут. Смекнула сразу про пулю-то летящую, сама прямо увидела эту пулю окаянную.

– Правильно, Глаша, правильно гутаришь, и дело делашь истинно правильное. Вот я в своё время не догадалась, не дотумкала... – вытерла глаза ладонью.

– Только никому, слышь, Зоя, никому...

– Не бойся, понимаю я тебя, ох как понимаю: боишься, что железка силу потеряет?

– Да, боюсь, – покорно и тихо ответила Глафира.

– А ты не бойся, одно горе мотаем, токо вот мово Грыню уже не спасти, так твого давай попробуем: вдвоём-то легче дело поднять.

– Как стемняется – приходи в мастерскую, – заговорщицки молвила Глафира.

– В хлев, не то ли?

– В хлев...

– Корову со стада встречу, подою, своих спать уложу и приду. Обязательно приду, – чуть не по-военному отчеканила Зоя.

4

Пришла соседка рано, ещё только куры на насест устроились, ещё свет не иссяк на дворе, ещё луна фарфоровая, до прозрачности скособоченная, заплутала в ветвях черёмухи, только первые звёзды обозначились. В хлев рыпнулась скрипучей дверью – нет там Глафиры. В дом вошла.

– А я только вот Машку кормлю, – извинительно произнесла Глафира.

– Корми, корми. Мои-то постарше, сами улягутся. Наказала, чтоб шибко-то не шумели. Да кто им там указ. Пусть продуреют, сон своё возьмёт.

– Да-а! У тебя уже большенькие... – запнулась Глафира.

– Большенькие, – согласилась с грустью, но легко Зоя. Она вдруг начала кончиком платка промокать глаза, – большенькие, – повторила дрожащим голосом. Эта дрожь Глафире передалась. Зачем про детей-сироток зацепила языком своим паршивым.

– А моя-то – Машка – имя своего отца-родителя знает, – пытается переменить тему.

– Как так? Ранось вроде такие слова сложные вымовлять.

– Не говорит она, а узнаёт она имя его среди многих других слов: скажу Никитушка, а она... Вот глянь! Видишь, сразу глаза-то на меня перекинула. Даже титьку выплюнула. Имя узнала...

И заревели вдруг две бабы в голос. Заревели каждая о своём тяжко, натужно и до боли горько. Дело этим и должно было кончиться: давно уже мокрота подкрадывалась змеёю тихой. Машка подхватила их освободившимся от материнской груди ртом, громче, однако, женщин забазлала. Женщины стихли враз, будто кто выключатель вымкнул. Встрепенулась Глафира, схватила малышку и давай по горнице бегать, вину свою заглаживать: сами же две бабы-дуры на рёв малютку спровоцировали. Припала Машка к груди материнской, почуяла тепло родное, запричмокивала. Уснула.

Если за дело возьмутся две женщины, две матери, две жены; да за дело праведное примутся, тут не на два нужно умножать, а на какое-то большое-пребольшое число, которое не сразу-то и в голову придёт. Да что тут считать? Считай не считай, всё равно ошибёшься в меньшую сторону, ибо не измерить это дело меркой арифметической: мерой сердца женского оно меряется. А мера эта безгранична, как душа, как мысль, как Русь. Сила

такая образуется, что сокрушить может любые стихии; горы сравнять с землёй может, снега-льды растопить, лишь бы солдатушки дело до Победы довели! А женщины подмогут, ещё как подмогут! Женская сила да любовь, говорят, в разлуке крепчает, закаляется, как железо в горниле, как сталь булатная. Только вот не перекалить бы, не предать бы жару...

Повертела, повертела Зоя железяку в руках: края ладно обработаны, заусениц никаких нет. Гладенькая получилась, чем-то формой на сердце смахивает.

– Добро сработала, прямо мастер! – похвалила. – А как прицеплять таку железку ко груди, придумала?

– Вот посоветоваться хотела. Я думала: просверлю дырки вот тут и тут, верёвку на шею, а отсюда ремешок на спину, чтобы прижало к груди, чтобы не хлябала.

– Лишние дыры сверлить? А вдруг пуля, да в дырку проделанную...

– Ох, – всплеснула руками Глафира, – а я-то и не подумала.

Зоя вдруг посмотрела на фартук на Глафире.

– Повернись-ка!

Осмотрела сбоку и со спины. Взяла со стола железку и вложила её в нагрудный карман, пришитый как раз посередине для инструментов. Железка аккурат вместилась в карман, будто кто специально для того и приладил.

– Точно! – воскликнула Глафира, обняла Зою. Железо меж них оказалось, охолодило и одну и другую; в чувство вернуло, в умственную ясность.

– Снимай, – скомандовала Зоя, давай ножницы.

Глафира достала ножницы из ящика, выдвигавшегося из-под столешницы. Неуверенно подала.

– Фартук... – хотела что-то сказать, но ножницы уже врезались в крепкую ткань.

– Придёт с фронту, новым обживётся. Неси иглу и нитки, будем зашивать, чтобы не обронился щит. Нитки суровые неси, чтоб не протёрлись там, чтобы выдюжили.

Пока железяку зашивали в фартук, пока тесёмочки примеряли, чтоб в пору были, снова вернулся разговор к тому, что туго приходится солдатам на фронте, что говорят скоро победа. И о том, какой ценой даётся эта победа, тоже обсудили. Поревели даже по-бабски – просто, без утайки. А от кого тут таиться в этом хлеву: только коза разве через стенку услышит, да до кур донесётся. Но они уже привыкши – наслушались...

– Как же он там без меня? Кто присмотрит? Он же у меня ребёнок ребёнком: ни поисть сам не может, ни обстираться... Одно твердит: «На войне как на войне». А как там на войне? Говорит, перед атакой не едят... – и Глафира погладила железку через туго облегающий её брезент где-то на уровне живота.

– Да, Гриня тоже мало чо про войну обсказывал. Всё о ребятишках спрашивал да говорил, что победа уже недалеко. А когда она, победа, уже придёт. Сколь народу ещё поляжет? – она осторожно поглядела на Глафиру, греющую металлическую пластину на животе. – Пусть хранит Бог твого Никиту.

Перекрестилась.

– А я вчерась варенья наварила вишнёвого, Никитушка любит. Вот, – подняла Глафира с полу ящик фанерный, – завтра посылочку вышлю. Может, успею, помоги, Боже, сохранить жизнь Никитушке, – и тоже перекрестилась.

– Успеешь, как не успеешь: сколь труда, вон руки все в кровь разбила. Надо же так себя умаяла. Успеешь.

Глафира, ободрённая соседкой, сбегала домой, чаю вскипятила, в мастерскую принесла, печенья заскорузлого достала, даже сахару кускового принесла. Сидят в хлеву, чай пьют, разговор ведут чисто женский, мужикам не всё понять. А где они, мужики-то?

Петухи запели, утро разрумянилось быстро, разноголосилось.

– Похоже, на дождь повернёт, – уже в дверях кинула Зоя.

– Ну и добре, давненько дождика не было, пусть польёт, пусть польёт, – уже вдогонку сказала Глафира, – тоже пойду, хоть чуток вздремну.

5

Сморило Глафиру. И снится ей опостылевший страшный сон.

Летит пуля, пущенная рогатым фашистом. Летит долго, однако: всю землю, считай, облетела. Гул от неё нестерпный стоит: во всю высь до неба, в землю глубоко уходит, и во всю ширь разносится, как зараза какая. Летит пуля, свистит, шипит, гудит. От звука этого зловещего всё живое прячется, как от чумы: звери притаились: кто в норку нырнул, кто в кустах схоронился, кто к траве припал, а кто того более – мёртвым прикинулся, вывернув живот кверху, да ещё и смраду напустив. Кто посмелее, зубы точут, когти вострят...

Во все семь углов Земли слышен вой этой пули, пущенной безжалостной и жадной рукой, пущенной, чтобы убить, истребить, повергнуть... Из Запада, однако, пущена пуля. Вся Европа старалась такую пулю отлить, чтобы сокрушить всё на Земле. Пущенная пуля всю Землю облетела. Ни одного человека на Земле не осталось, чтоб про эту пулю не слыхал, чтобы не слыхал её жуткого воя, её ужасающего свиста.

И никто не знает, как её остановить, как изловить, как уничтожить нависшую над Землёй опасность. Кто пытался – тех уж нет. Нет пока такой силы.

А пуля летит... летит... летит... Летит пуля, рогатым фашистом отлитая, с Запада летит, со стороны Европы летит.

И вдруг на её пути поднялась скала, утёс, глыба гранитная, несокрушимая, величиною до неба.

А пуля летит... Летит пуля... Самоуверенной пуле кажется, что это не утёс, не глыба гранитная, не скала, а кочка болотная. Так ей кажется, непобедимой пока и всесильной. Не верится ей, что есть сила такая, что может остановить, побить её – пулю.

Летит пуля, гудит, свистит, шипит. Не сворачивает от кочки.

Бежит в атаку Никитушка, и много ещё солдатушек бегут, кричат громко «Ура-а-а-а!!!».

Налетела пуля на скалу, на утёс, на гранитную глыбу!

И только шлепок, на плевок похожий, услышал солдат.

Сползла пуля пуговкой свинцовой по голенищу.

Плюхнулась в грязь. Наступил на неё Никитушка сапогом...

И наступила тишина. Не слышно пули.

И возрадовались люди, и повыползали из норок звери; запели громко и радостно птицы.

И зацвели сады, запахло в воздухе сиренью.

И пришла Великая Победа!

И возродилась жизнь.

Март, 2021